

Фонарщик на маяке. Генрик Сенкевич

I

Маленький городок Эспинваль, лежащий недалеко от Панама, был встревожен исчезновением фонарщика. Так как это случилось в бурю, то предполагали, что бедняга чересчур близко подошёл к берегу маленького скалистого островка, на котором стоит маяк, и был унесён волною. Подобное предположение было тем более вероятно, что на другой день даже и лодки фонарщика не оказалось на её обычной стоянке в маленькой бухте. На вакантное место необходимо было посадить кого-нибудь, и посадить как можно скорее, потому что маяк имеет немалое значение как для местного судоходства, так и для кораблей, идущих из Нью-Йорка в Панаму. Залив Москитов изобилует мелями и подводными камнями, меж которых дорога и днём-то трудна, а ночью, в особенности среди туманов, часто поднимающихся с этих водных пространств, нагреваемых экваториальным солнцем, почти невозможна. Тогда единственным проводником для многочисленных судов служит огонь маяка. Труд отыскать нового фонарщика выпал на долю консула Соединённых Штатов, – труд нелёгкий: во-первых, потому, что преемника нужно было найти непременно в течение двенадцати часов; во-вторых, преемник должен быть человеком в высшей степени аккуратным; наконец, вообще кандидатов в виду не имелось. Жизнь на маяке чрезвычайно трудна и вовсе не улыбается изленившимся людям юга. Фонарщик – это почти узник. За исключением воскресенья, он не может покидать свой скалистый островок. Лодка из Эспинваля привозит ему раз в день пищу и воду и немедленно возвращается назад; на островке (величиною в десятину) нет ни одной живой души. Фонарщик живёт на маяке, содержит его в порядке; днём он должен вывешивать разноцветные флаги, сообразно указаниям барометра, ночью зажигает огонь. Всё это было бы не особенно трудно, если бы не лестница в четыреста ступеней, ведущая снизу, от подошвы башни до лампы, а фонарщик несколько раз в день должен совершить такое путешествие. Вообще, житейское трудное, изнурительное. Поэтому нет ничего удивительного, что м-р Айзек Фоконбридж находился в большом затруднении, не зная, где найти фонарщика на место покойного, легко представить и его радость, когда заместитель явился совершенно неожиданно в тот же самый день. То был человек уже старый, лет семидесяти, даже может быть и более, но здоровый, прямой, с наружностью солдата. Волосы его были совершенно седые, цвет лица смуглый, как у креолов, только голубые глаза обличали уроженца севера. Лицо – грустное, но внушающее доверие. Он с первого взгляда понравился м-ру Фоконбриджу, Нужно было только проэкзаменовать его.

– Вы откуда?

– Поляк.

– Что вы делали до сего времени?

– Скитался по свету.

– Фонарщик должен сидеть на месте.

– Мне и так необходим отдых.

– Вы служили где-нибудь? У вас есть свидетельства вашей службы?

Старик вынул из кармана лоскуток полинялой шёлковой материи, похожий на старое знамя, и развернул его.

– Вот все мои свидетельства. Крест... я получил его в тридцатом году. Другой – испанский, за карлистскую войну; третий – французский, Почётного Легиона; четвёртый я получил в Венгрии. Потом я сражался в Штатах, против южан, да там не дают крестов, – только бумагу.

Фоконбридж взял бумагу и начал читать.

– Гм... Скавиньский? Эта ваша фамилия? Гм... два знамени взяты в ручной атаке... Вы были храбрым солдатом.

– Я постараюсь быть и исправным фонарщиком.

– Вам придётся всходить несколько раз на самую вершину башни. Ноги у вас крепки?

– Я прошёл пешком плены[1].

– All right![2] Вы знакомы с морской службой?

– Я три года пробыл на китоловном судне.

– Значит, вы много профессий перепробовали?

– Да, только не остановился ни на одной.

– Отчего же?

Старик пожал плечами.

– Так... судьба...

– Всё-таки вы мне кажетесь чересчур старым для фонарщика.

– Сэр! – голос кандидата дрогнул от внутреннего волнения. – Я страшно утомлён и разбит. Вы сами видите, сколько мне пришлось вынести в жизни. Место это одно из таких, к которому я жадно стремлюсь всею душой. Я стар, мне хочется сказать самому себе: здесь будешь стоять, здесь твой порт. Ах, сэр, всё зависит от вас! Другой раз, может быть, мне не придётся напасть на подобное место. Какое счастье, что я случился на это время в Панаме! Умоляю вас... клянусь Богом, я точно старая лодка: если она не войдёт в порт, то затонет... Если хотите сделать старика счастливым... я буду служить хорошо...

Голубые глаза старика с такою мольбой смотрели на Фоконбриджа, что тот не мог оставаться спокойным.

– Well! – сказал он, – я принимаю вас. Вы будете фонарщиком.

Лицо Скавиньского мигом прояснилось.

– Благодарю. О, благодарю!

– Можете сейчас отправиться на маяк?

– Хорошо.

– Ну, так, good bye... Ещё слово: за каждую провинность – отставка.

– All right!

В тот же самый вечер, когда солнце закатилось по ту сторону перешейка и яркий день сразу, без сумерек, сменился ночью, новый фонарщик, очевидно, был уже на своём месте: фонарь бросал на воду, как прежде, снопы своего ослепительного света. Ночь была совершенно тихая, настоящая экваториальная ночь, вся пропитана светящеюся мглой, отчего около месяца образовался большой круг с оттенками всех цветов радуги. Только море бурлило, – подходил прилив. Скавиньский стоял на балконе, около громадных ламп и казался снизу маленькою чёрною точкой. Он пробовал собрать в одно все мысли и обсудить своё новое положение, но мысли не хотели слушаться и течь мерною чередой. Он чувствовал себя так, как чувствует зверь, когда тот, в виду приближающейся погони, скроется в каком-нибудь недоступном месте. И для него пришло время успокоения. Сознание безопасности наполняло его душу невыразимую радостью. Он мог на этой скале просто-напросто смеяться над своими прежними скитаниями, над старыми горестями и неудачами. Он был, действительно, похож на корабль, у которого буря поломала мачты, порвала верёвки, паруса, которым играла, точно мячиком, поднимая чуть не под небеса и опуская чуть не на дно моря, и который всё-таки добился своего порта. Иные моменты этой бури, при сопоставлении с теперешнею тишиной, в особенности ясно представлялись ему сейчас. Часть своих походов он уже рассказал Фоконбриджу, но было и ещё много кое-чего, – о, как много! Как только разбивал он где-нибудь палатку и разводил огонь чтобы прочно установиться на месте, ветер тотчас вырывал кольца его палатки, задувал огонь, а его самого подхватывал и нёс на погибель. Вот теперь поглядывая с балкона башни на освещённые волны он вспоминал обо всём пережитом. Он дрался в четырёх частях света и перепробовал множество профессий. Работящий и неутомимый, он нередко сколачивал более или менее солидные суммы денег и всегда терял их вопреки всяким предположениям и осторожности. Он был и искателем золота в Австралии, и добывал бриллианты в Африке, и служил в армии Восточной Индии. Когда-то он основал ферму в Калифорнии, – засуха разорила его; вёл торговлю с дикими племенами, живущими в средней части Бразилии, – лодка его разбилась на Амазонке, а сам он, безоружный, полунагой, блуждал несколько недель в лесах, питался дикими плодами, ежеминутно рискуя сделаться добычей хищных зверей. Открыл он кузнечное заведение в Элене, в Арканзасе, и погорел во время большого пожара. Потом в Скалистых горах он попался в руки индейцев и только чудом был спасён канадскими стрелками. Служил он матросом на корабле, совершавшем плавание между Бахией и Бордо, и гарпунщиком на китоловном судне и оба корабля разбились. Завёл фабрику сигар в Гаване и был обокраден товарищами по делу, в то время, когда сам лежал больной жёлтою лихорадкой. Наконец, вот он прибыл в Эспинваль, и здесь должен быть положен конец его неудачам. Что могло постичь его на этом скалистом клочке земли? Ни вода, ни огонь, ни люди, да, наконец, от людей Скавиньский не видал много зла. Те, что знали его, говорили просто, что ему нет счастья. Этим всё а объяснялось. В конце концов он и сам сделался отчасти маньяком. Он верил, что какая-то могучая, мстительная рука преследует его везде, по всем морям и землям, но не любил говорить об этом, и только когда его спрашивали, какая это рука, таинственно указывал на полярную звезду и говорил, что всё идёт оттуда... Да и в самом деле, неуспех его был так постоянен, что и всякий на его месте поверил бы в какое-нибудь таинственное влияние. Он обладал терпением индейца и тем непоколебимым упорством, какое является результатом уверенности в своей правоте. В Венгрии он получил несколько ударов штыком за то, что не хотел схватиться за стремя, которое ему указывали как на единственное средство спасения, и закричать: пардон. Также он не поддавался и несчастью и лез в гору, как муравей;

сверженный сто раз, спокойно начинал своё восхождение во сто первый. Это был человек замечательный в своём роде. Старый солдат, окуренный порохом Бог весть во скольких боях, закалённый в бедах, обладал сердцем ребёнка. Во время эпидемии на Кубе он только потому и захворал, что отдал больным весь свой запас хинина, не оставив себе ни грана.

Ещё замечательною чертой в нём было и то, что после всего испытанного им он не терял надежды, что всё исправится, всё будет хорошо. Зимой он всегда оживлялся и предрекал какие-то великие события, но зимы проходили одна за другой и Скавиньский дождался только того, что они убелили его голову. Он состарился и начинал терять энергию; терпение его начинало с каждым прожитым днём всё более походило на отчаяние. Прежнее спокойствие духа сменилось какою-то необычною нервною восприимчивостью, – и старый солдат мог расплакаться при каждом удобном случае. Кроме того, от времени до времени на него нападала страшная тоска по родине. Чтобы возбудить её, достаточно было самого незначительного обстоятельства: ласточка, серая птичка, смахивающая на воробья, снег на горах, даже просто мотив похожий на знакомый, слышанный когда-то, давно... Наконец, им всецело овладела только одна мысль: жажда успокоения, – овладела она всем стариком и заглушила все остальные мысли и желания. Вечный скиталец не мог даже и придумать чего-нибудь более желательного, более дорогого, чем спокойный угол, где бы он мог отдохнуть и спокойно ждать конца. Может быть только единственно потому, что какая-то странная игра случая бросала его по всем углам мира, не давая ему перевести дух, он и думал, что наивеличайшим человеческим счастьем есть не скитаться. Правда, он завоевал себе такое скромное счастье, но столько видел превратностей на своём веку, что думал о спокойствии как о чём-то необычайном. Он не дерзал даже и надеяться, и вдруг, неожиданно, попал на место, которое было точно и создано для него. Не удивительно, что когда вечером он зажёл свою лампу, то всё спрашивал себя, правда ли это, и не решался сказать: да. А между тем действительность сотнями доказательств подтверждала, что это правда. Проходил час за часом, Скавиньский всё смотрел, думал и мало-помалу убеждался. Можно было подумать, что он в первый раз видит море; на эспинвальских часах пробило полночь, и он ещё не покидал своего поста и всё смотрел. Внизу, у его ног, шумело море. Отверстие лампы прорезывало темноту громадным конусом света, за которым взор старика терялся в дали, почти чёрной, таинственной и страшной, но самая даль, казалось, стремилась к свету. Длинные волны выкатывались из мрака, рыча, достигали берегов островка, и тогда видны были их гребни, освещённые розовым светом огня в фонаре. Прилив усиливался и заливал песчаные отмели. Таинственная речь океана доходила всё ясней и ясней, похожая то на залпы орудий, то на шум гигантских лесов, то на далёкий говор тысячной толпы народа. Минутами стихало. Потом до ушей старика достигали какие-то вздохи, рыдания, и снова – грозные залпы. Вдруг ветер сильным порывом разогнал мглу, зато нагромоздил на небе массу разорванных туч, что совершенно заслонили месяц. С запада начинало дуть сильней. Волны бешено скакали на башню маяка и подходили уже к самому основанию. Вдали начиналась буря. На чёрной, взбудораженной поверхности только и виднелись что несколько зеленоватых огоньков от фонарей на мачтах судов. Зелёные точки то высоко взлетали кверху, то глубоко опускались вниз, колыхаясь вправо и влево. Скавиньский вошёл в свою комнату. Буря разыгрывалась всё сильней. Там, на дворе, люди боролись с ночью, с темнотою, с разъярённою влагой; тут, в комнате, было тихо и спокойно, даже отголоски бури слабо проникали сквозь толстые стены и только мерное тиканье часов убаюкивало утомлённого старика.

II

Время шло. Дни уплывали за днями, недели за неделями... Матросы утверждают, что

временами, когда море чересчур уже взволнуется, то среди ночи и мрака какой-то голос зовёт их по имени. Если бесконечность моря может призывать кого-нибудь, то, вероятно, когда человек состарится, его призывает другая бесконечность, ещё более тёмная, таинственная и тем более желательная, чем более измучен жизнью человек. Но, чтобы слышать этот голос, необходима тишина. Кроме того, старость любит уединение, как бы в предчувствии близкой могилы. Маяк был таким подобием гроба для Скавиньского. Нет ничего однообразнее жизни в башне. Молодые если и поступают на такую службу, то скоро бросают её, поэтому фонащиком бывает обыкновенно человек уже пожилой, суровый, замкнутый в самом себе. Если он покидает свою башню и смешивается с толпой народа, то ходит там как будто внезапно пробуждённый от тяжкого сна. В башне полнейшее отсутствие мелких впечатлений, которые и делают обыденную жизнь тоже мелкою. Всё, с чем сталкивается фонащик, – громадно, всё неограниченно. Небо – одна стихия, вода – другая, и меж этими двумя бесконечностями одинокая человеческая душа! В такой жизни мышление заменяется скорей глубокою задумчивостью, и от этой задумчивости не пробуждает фонащика ничто, даже его занятия. День становится похожим на другой день, как два зерна чётков. Несмотря на то, Скавиньский чувствовал себя счастливым, как никогда в жизни. Вставал он с рассветом, завтракал, чистил стекло фонаря и потом, усевшись на балконе, всматривался в морскую даль, и глаза его не могли наглядеться на развёртывающуюся перед ними картину. На громадном тёмно-голубом фоне постоянно можно было видеть стаи туго-натянутых парусов, светящихся под лучами солнца так ярко, что глазам делалось больно от чрезмерного блеска; иногда лодки, пользуясь пассатным ветром, тянулись длинною чередой, одна за другою, точно цепь чаек или альбатросов. Красные бочки, указывающие дорогу, колыхались на волнах тихим, плавным движением; между парусами каждый день появлялся гигантский столб серого дыма. То пароход из Нью-Йорка вёз пассажиров и товары в Эспинваль, оставляя за собой длинную борозду пены. С другой стороны, как на ладони, раскрывался вид на Эспинваль, с его шумным портом, с лесом мачт, с лодками и шлюпками; немного подалеже белелись дома и башни города. С вышины маяка домики казались гнёздами чаек, лодки – жуками, а люди двигались по белым улицам точно маленькие чёрные точки. С раннего утра лёгкий восточный ветер доносил смешанный шум городской жизни, над которым царил свист паровозов. Движение в порте утихало, чайки прятались в расщелины скал, волны улегались, двигались как-то лениво; в то время на материке, на море, в маяке – наступало время ничем ненарушимой тишины. Жёлтые пески, с которых схлынули волны, сверкали точно золото; потоки солнечных лучей лились с неба на воду, на землю, на скалы. Тогда и стариком овладевала сладкая истома. Он чувствовал, что отдых, которому он предаётся, очарователен, а когда вспоминал, что это будет длиться долго, то ему уж ничего на свете не было нужно. Скавиньский любовался своим счастьем; но человек скоро осваивается с своим положением, постепенно приобретает уверенность, – так и он думал, что если люди строят дома для инвалидов, то почему бы Богу не приютить и своего инвалида? Время шло и укрепляло его в этом предположении. Старик сжился с башней, с фонарём, со скалами, с песчаными отмелями и одиночеством. Свёл он также знакомство и с чайками, что водились в щелях скал, а вечером собирали шумное вече на крыше маяка. Скавиньский всегда бросал им остатки своей трапезы; птицы вскоре так освоились с ним, что впоследствии слетались к нему близко, окружали его целю тучей белых крыльев, и старик ходил среди птиц как пастух посреди своего стада. Во время отлива он спускался вниз и собирал вкусные слизняки и прелестные раковины, которые ушедшая волна оставила на песке; ночью, при свете месяца и фонаря, ходил ловить рыбу, – ею кишели маленькие бухточки и заливы острова. В конце концов он полюбил свою скалу и свой бесплодный островок, где росло только низкое, толстое растение, дающее липкий сок. Скучность острова вознаграждалась роскошною панорамой. В часы полудня, когда атмосфера делалась необыкновенно прозрачною, виден был весь

перешеек, покрытый, вплоть до берега океана, роскошной растительностью. Скавиньскому тогда казалось, что перед ним развёртывается один сплошной сад. Группы кокосов и гигантских муз образовывали пышные букеты прямо за стенами Эспинваля. Дальше, между Эспинвалем и Панамой, лежал огромный лес, над которым утром и вечером поднимался красноватый пар, – лес тропический, залитый водою, опутанный лианами, шумящий одною волной гигантских пальм, молочных и каучуковых деревьев.

При помощи своей подзорной трубки, старик мог разглядеть не только деревья, не только широкие листья бананов, но и целые стада обезьян, больших марабу, стаи попугаев, поднимающихся иногда радужною тучей над лесом. Скавиньский хорошо знал подобные леса, когда, после крушения на Амазонке, долгие недели блуждал среди зарослей, – знал, что под их чудной, улыбающеюся наружностью таятся опасность и смерть. Ночью ему часто приходилось слышать близко зловещее рычание ягуаров; видал он и огромных змей, точно лианы повисших на деревьях; знал и эти сонные лесные озёра, с их крокодилами и электрическими скатами. Ему хорошо известно, под каким гнётом живёт человек в тех неисследованных лесах, где один лист в десять раз больше человеческого роста, где кровожадные москиты, древесные пиявки, ядовитые пауки... Всё это он узнал сам, на личном опыте, всё это вытерпел когда-то и тем с большим наслаждением может смотреть с высоты своей башни на эти *matos*[3], любясь их красотой и будучи защищённым ото всех невзгод. Его башня хранила его ото всех зол. Он оставлял её только в воскресенье утром. Тогда он надевал свой таможенный гранатный мундир с серебряными пуговицами, привешивал свои знаки отличия, и белая голова поднималась с гордостью, когда он слышал, как говорили креолы при его приближении: «хороший у нас фонарщик. – И не еретик, хотя и янки!» Прямо от мессы он возвращался на остров, и возвращался счастливый, потому что всё ещё не особенно доверял твёрдой земле. В воскресенье также он читал испанскую газету, которую покупал в городе, или нью-йоркский *Herald*[4], который давал ему Фоконбридж, читал и жадно отыскивал там известия из Европы. Бедное старое сердце на этой башне, на другом полушарии, ещё билось для родины.

По временам, когда приставала лодка, привозившая ему пищу, он сходил потолковать с перевозчиком Джонсом, но это только сначала, а потом видимо одичал, перестал бывать в городе, читать газеты и вести политические беседы с Джонсом. Проходили целые недели, как его не видал никто, ни он никого. Единственным доказательством, что старик ещё жив, было только исчезновение пищи, оставленной на берегу, да свет фонаря, появлявшийся каждый вечер с такою регулярностью, с какою в тамошних краях заходит солнце. Очевидно, старик сделался равнодушен к свету. То была не ностальгия, и она перешла в унылую покорность судьбе. Целый мир теперь для старика начинался и кончался на его островке. Он уже сжился с мыслью, что не покинет башни до смерти, и совсем позабыл, что есть ещё что-то за башней. Притом он стал мистиком, и без того кроткие глаза его стали теперь совсем детскими и постоянно устремлялись в даль. В вечной обособленности, перед лицом величественной природы, старик начал терять чувство индивидуальности, переставал существовать отдельно и всё более и более сливался с тем, что его окружало. Он не раздумывал над этим, просто чувствовал непосредственно, и вдруг ему начало казаться, что небо, вода, его скала, башня, жёлтые песчаные отмели, натянутые паруса, приливы и отливы – всё это одно, одна великая, таинственная душа; он сам тоже погружается в эту таинственность и чувствует эту душу, которая живит и утишает все страдания. Он утонул, забылся, и в том отрешении от индивидуальной жизни, в том полусне, полусознании нашёл такое успокоение, что его можно было почти сравнить со смертью.

Но подошло и пробуждение.

Однажды, когда лодка привезла воду и запас пищи, Скавиньский, сойдя вниз часом позже, заметил, что, кроме обыкновенного свёртка, есть и ещё какой-то. На грубом полотне были видны почтовые марки Соединённых Штатов и чёткий адрес «Skawinski, Esq.» [5] Заинтересованный старик разорвал полотно и увидел книжки: взял одну и положил её обратно, причём руки его сильно задрожали. Он закрыл глаза, точно не доверяя самому себе; ему казалось, что он спит, – книжки были польские. Что это такое значит? Кто мог ему прислать книжки? В первую минуту он, очевидно, забыл, что ещё в начале своей службы на маяке ему пришлось прочесть в номере Herald'a об основании польского общества в Нью-Йорке, и что он тотчас же отослал туда половину своего месячного жалованья, с которой не знал что делать. Общество, в знак благодарности, прислало ему книжки. Они явились простым путём, но старик в первое время ничего не мог сообразить. Польские книжки в Эспинвале, в его башне, на его одиноком острове были для него неожиданностью, точно отзвуком давно прошедших времён, чудом. Теперь он чувствовал себя как те моряки. Кто-то назвал его по имени голосом дорогим, но – увы! – забытым. Он просидел несколько минут с зажмуренными глазами и почти был уверен, что как только раскроет их, – сон пропадёт. Нет! Разорванная пачка лежала перед ним тут же, освещённая лучами солнца, – развёрнутая книжка оставалась в том же положении. Когда Скавиньский вновь протянул за нею руку, он почти слышал среди тишины биение собственного сердца. Он посмотрел, то были стихи. Наверху стояло крупными буквами название пьесы, внизу – имя автора. Имя это не было чуждо Скавиньскому; он знал, что оно принадлежит великому поэту, да он и читал его произведения в тридцатых годах в Париже. Потом, сражаясь в Алжире и Испании, он слышал от соотечественников о растущей славе великого барда; но так уже привык к карабину, что и в руки не брал книжки. В 49-м году он выехал в Америку и, ведя жизнь авантюриста, почти не встречал поляков, а польских книжек не встречал и вовсе. Тем с большим любопытством и биением сердца перевернул он заглавную страницу. Ему казалось, что на его дикой скале начинается праздник.

Пора была самая жаркая. Эспинвальские часы пробили пять пополудни. Ясного неба не омрачала ни одна тучка, только несколько чаек плавало в бесконечной лазури. Океан почти совсем заснул. Прибрежные волны еле-еле журчали, тихо лобзая окраины берегов. Вдали улыбались белые домики Эспинваля и чудные группы пальм. И вправду, везде было тихо, торжественно. Вдруг, среди спокойствия, раздался дрожащий голос старика. Он читал громко, чтобы самому понять лучше:

Литва, моя отчизна! ты как здоровье наше:
Когда тебя утратим, ты нам милей и краше.
Теперь, с тобой расставшись, о, родина моя!
Тебя с тоской сердечной пою и вижу я... [6]

У Скавиньского не хватило голоса. Буквы начали прыгать у него в глазах; в груди точно что-то порвалось и волною шло от сердца всё выше, заглушая голос, стискивая горло... Прошла минута; он оправился и читал далее:

Небесная Царица! Ты дивно в Острой Бrame
Сияешь горней славой! Ты в Ченстоховском храме
И в замке новогрудском хранишь своих детей!
Меня Ты исцелила на утре юных дней,
Когда меня родная, утратив все надежды,
Повергла пред Тобю, и я, больные вежды
Подняв на лик пречистый, восстать нежданно мог
И с жаркою мольбою упасть на твой порог:

Так чудом возвратишь Ты меня к отчизне милой!

Расходившаяся волна прорвала плотину воли. Старик зарыдал и упал наземь, седые волосы приникли к морскому песку. Вот скоро минет сорок лет, как он не видал родины, и Бог знает – сколько, как не слышал родной речи; а вот теперь эта речь сама пришла к нему, переплыла океан и застала его, одинокого, на другом полушарии, такая любимая, такая дорогая, такая чудная! В рыданиях, что потрясали его, не было боли, а только нечаянно пробуждённая, невыразимая любовь, пред которою всё кажется ничем... Он просто своими слезами умолял о прощении её, далёкую, любимую, за то, что так уже состарился, так сжился с своею одинокою скалой, так забылся, что в нём и горе начало замирать. А теперь он «возвращался чудом»... Сердце его рвалось. Минуты проходили за минутами, а он всё лежал. Прилетели чайки, точно беспокоясь о своём старом друге. Приближалась минута, когда он обыкновенно отдавал им остатки своего обеда. Некоторые из них слетели с верху башни к нему, потом прилетели и ещё, и ещё, начали слегка клевать его носом и шуметь крыльями над его головой. Шум крыльев пробудил его. Слезы он все выплакал, лицо его озарилось теперь каким-то ясным покоем, в глазах светилось вдохновение. Он отдал весь свой обед птицам, те улетели, а сам снова взял книжку. Солнце уже зашло за сады, за девственный лес Панамы и теперь медленно опускалось за перешеек, к другому океану, хотя и Атлантический ещё горел, точно в нём струилось раскалённое золото. В воздухе было ещё светло, читать было можно.

Теперь же дай умчаться душе моей унылой

Туда, к холмам зелёным, в раздолье тех лесов...

Спустился сумрак, – на юге сумерки коротки, как мгновение ока. Старик прислонился головой к скале и закрыл глаза. А тогда Та, что «дивно в Острой Бrame сияет горней славой», взяла его душу к родным полям «с пшеницей золотою, да с житом серебристым».

На небе горели ещё длинные полосы золота и пурпура, когда он по этой дороге стремился к родимому краю. Зашумели сосновые леса, зажурчали родные реки. Он видит всё, как было. Всё его спрашивает: «помнишь?» Он помнит! Он видит: необъятные поля, межи, луга, леса и деревушки. Ночь уже. В эту пору обыкновенно загорался его фонарь, но теперь старик – в родной деревне. Старая голова наклоняется к груди и засыпает. Одна картина сменяется другою быстро и отчасти беспорядочно. Он не видит родного дома, – его стёрла с лица земли война; не видит ни отца, ни матери, – те умерли ещё в его младенчестве; но деревня всё такая же, как будто он её оставил только вчера: ряд хижин с огоньками в окнах, плотина, мельница, два пруда, целую ночь кричащие хорами лягушек. Когда-то он в своей деревушке всю ночь простоял на часах; теперь и эта ночь представляется ему. Вот он снова улан и стоит на часах: корчма издали поглядывает своими горящими очами и шумит, и стучит, и ноет среди ночной тиши топотом ног, визгом скрипок и густым голосом контрабаса: «У-га! У-га!» То уланы выбивают такт подковами сапог, а ему так скучно одному! Время течёт медленно, наконец огни гаснут; теперь, куда ни кинь глазом, мгла, туман непроглядный: с лугов поднимаются испарения и окутывают весь мир белым саваном. Скажешь – точно море безбрежное, но это только поля: стоит лишь услышать, как дергач крикнет в темноте, или лягушка квакнет в трясине. Ночь спокойна и холодна, настоящая польская ночь! Вдали шумит сосновый бор без ветра, как волна морская. Вскоре рассвет окрасит восход: вот уж и петухи запели, сидя на плетнях, один другому подаёт голос от хаты до хаты; вот и журавли кричат где-то в выси. Улану так свежо, хорошо. Там что-то говорили о завтрашней битве. Ну, он и пойдёт, как пойдут и другие, с криками и шелестом развевающихся знамён. Молодая кровь бьёт ключом, хотя утренний ветер и охлаждает её. Но вот и рассвет, рассвет... Ночь

бледнеет; из мрака освобождаются леса, кустарники, ряд домов, мельница, тополя. Колодцы скрипят, как жестяной флюгер на башне. Какая это любимая земля, прекрасная, в розовых лучах зари! О, дорогая, дорогая!

Тише!.. Бдительный часовой слышит, как кто-то приближается. Верно идут перебить стражу.

Вдруг раздаётся какой-то голос над самым Скавиньским:

– Эй, старик! Вставайте! Что с вами?

Старик открывает глаза и смотрит с удивлением на стоящего пред ним человека. Обрывки мечтаний мешаются в его голове с действительностью. Наконец, видения бледнеют и пропадают. Пред ним Джонс – портовой стражник.

– Что с вами? – спрашивает Джонс. – Вы больны?

– Нет.

– Вы не зажгли фонаря. Вам предстоит отставка. Лодка из Сан-Джеромо разбилась на мели. По счастью, никто не утонул, иначе вы угодили бы под суд. Садитесь со мной, остальное услышите в консульстве.

Скавиньский побледнел; он, действительно, в эту ночь не зажёл фонаря.

Несколько дней спустя можно было видеть на палубе судна, идущего из Эспинваля до Нью-Йорка, старика. Бедняк потерял место. Перед ним предстоял новый путь скитания; ветер снова оторвал этот лист, чтобы бросать его из одного места в другое, чтобы натешиться над ним вволю. Старик за несколько дней сильно осунулся и опустился, только глаза светились по-прежнему. Рука его от времени до времени нащупывала на груди книжку, как бы опасаясь, не пропала ли она.

Перевод Вукола Михайловича Лаврова (1893)

Примечания

1 plains. Пленами называются неизмеримые степи между Нью-Йорком и Калифорнией. (прим. автора).

2 Всё в порядке! (англ.)

3 заросли (прим. верстальщика)

4 газета «Нью-Йорк геральд трибьюн»

5 Скавиньский, эсквайр (англ.)

6 Здесь и ниже цитаты из А. Мицкевича «Пан Тадеуш»